УДК 008:821.161.1.09

Е.Г. Серебрякова

ОТ «ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВА» К «ДИССИДЕНТСТВУ»: НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЯВЛЕНИЯ

Анализируется феномен шестидесятничества. Автор исследует трансформацию основных мировоззренческих принципов либеральной советской интеллигенции, главным из которых назван историзм. Выводы статьи сделаны на основе анализа книг Юрия Орлова «Опасные мысли» и Владимира Буковского «И возвращается ветер…». Автор утверждает, что шестидесятники отождествляли время историческое и частное, а диссиденты пришли к абсолютизации историзма.

Ключевые слова: шестидесятники, диссиденты, либеральная советская интеллигенция, историзм, частное время и историческое.

Период 1960-х гг. в советской культуре тяготел к самоопределениям: «оттепель» – для эпохи, «шестидесятники» – для поколения. Две метафоры, одна из которых означала возрождение страны, а другая – её персонифицированное настоящее, оказались созвучны друг другу. И если первая, войдя в широкое речевое употребление, не нуждалась в уточнении семантики, то вторая явно имела «размытые контуры». Действительно, кого можно назвать шестидесятником? Ст. Рассадин, автор понятия, именовал так героев романа В. Аксёнова «Коллеги» – молодых людей в возрасте около 20 лет. М. Хуциев, предлагая кинематографический взгляд на поколение, назвал свой фильм «Мне 20 лет» (первоначальное название ленты – «Застава Ильича»). Таким образом, возрастной показатель шестидесятничества определился вместе с возникновением понятия. Современный социолог В. Воронков подтвердил, что «основу поколения составили родившиеся с 1931 по 1945 годы» [2. С. 177].

Однако возрастная принадлежность – весьма условный критерий для идентификации поколения. С полным правом к шестидесятникам можно отнести не только вчерашних фронтовиков М. Хуциева, Б. Окуджаву, Э. Неизвестного, их более молодых сверстников Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского, но и литературных мэтров А. Твардовского – главного редактора ведущего демократического журнала страны «Новый мир», Л. Чуковскую – писательницу, известную своими нонконформистскими взглядами, И. Эренбурга – автора понятия «оттепель» и одноимённого романа. А их годы рождения таковы: А. Твардовский – 1910, Л. Чуковская – 1907, И. Эренбург – 1891. Очевидно, что основным критерием следует признать не возрастную шкалу, а единство мировоззренческих позиций – шестидесятническое самосознание.

Анализируя социальный состав шестидесятников, социологи отмечают, что подавляющее большинство было представлено интеллигенцией (70-80% – люди с высшим и незаконченным высшим образованием) [2. С. 189-190]. Это неудивительно, поскольку именно интеллигенция в российском обществе традиционно брала на себя рефлексивную функцию. Характерно и другое: художественное сознание эпохи оказалось более мобильным и эмоционально отзывчивым, чем научное. Выработку новых смыслов в культуре «оттепели» взяла на себя в первую очередь творческая и гуманитарная интеллигенция. В этой среде вызревало самосознание поколения, основные ценности которого транслировались обществу и усваивались им.

Определение, найденное для поколения, семантически значимо, оно явно указывало современникам нравственные ориентиры шестидесятников предшествующего столетия – революционно-демократической интеллигенции, выработавшей социально-нравственный императив, основанный на нескольких базовых позициях: совестливость, повышенная рефлексия, сочувствие «маленькому человеку», потребность действенного служения народу и обществу, готовность к самопожертвованию во имя социальной справедливости и, как следствие, оппозиционность власти. Эти нравственные принципы, востребованные пореформенной порой XIX в., в трансформированном варианте реализовали себя в аксиологии шестидесятничества века XX.

XX съезд партии пробудил общественное сознание, не подвергая сомнению завоеваний Октябрьской революции, заставил переосмыслить события ближайшей истории – сталинского тридцатилетия. Обострённое чувство истории можно назвать основным свойством самосознания поколения. Оно было рождено потребностью ответить на главный вопрос времени: как в гуманистическом по

своей природе социалистическом строе стал возможен бесчеловечный сталинский режим? Официальный ответ на этот вопрос был дан Н.С. Хрущёвым в докладе «О культе личности и его последствиях»: сосредоточив в своих руках безграничную политическую власть, деспотичный по натуре лидер отступил от ленинских норм социалистической морали, развязал неоправданный террор, предал забвению принципы социалистической гуманности. Либеральной интеллигенции такое объяснение казалось явно недостаточным, она нуждалась в более глубоком толковании. Помимо безусловного осуждения личности Сталина и сталинизма как политического явления интеллигенция сосредоточилась на проблеме личной ответственности граждан за происходившее в стране. Рефлексивность и совестливость, обязательные нравственные качества интеллигенции, рождали убеждённость во всеобщей ответственности. Общество, по мнению шестидесятников, разделяет вину за злодеяния режима. Террор был возможен из-за политической слепоты, бездумного послушания и страха рядовых граждан. Жертвы позволили свершиться беззаконию, они сделали это вместе с режимом.

Освобождение от преступного наследия требовало духовного и интеллектуального раскрепощения, а это в свою очередь порождало социально направленное действие. Так формировалась «культура поступка» (А. Даниэль), выражавшая самосознание поколения. Г. Померанц описал свой внутренний позыв к деятельному вмешательству в социальные события так: «Двадцать лет спустя после всенародной (Великой Отечественной войны, т.е. в 1965 г. – *Е. С.*) я выступил в институте философии и сказал то, что думал о решении реабилитировать Сталина <…>. Я посмел и сумел сказать вслух то, что все вокруг хотели сказать и не решались. Я переступил через меловой круг <…>. Тогда впервые я перестал жалеть, что я не родился в другое время, впервые почувствовал, что среда меня не заела, что я вынес свой век» [5. С. 210-211]. Без сомнения, нравственное соответствие эпохе ощущали многие шестидесятники. Оно рождало убеждение: история проходит через каждую частную жизнь, слагается из повседневно-будничных поступков, в которых проявляется не только личностная, но и гражданская значимость человека. А потому борьба с неосталинизмом – персональное дело каждого честного гражданина:

Шестидесятники развенчивать усатого должны,
Им для этого особые приказы не нужны <…>.
Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг,
И в этом их предназначение, особый смысл и толк, – писал Б. Окуджава.

Итак, нерасторжимость личного времени и исторического – основа самосознания поколения. Тогда биография вырастает до масштабов Судьбы, «русского жребия» (А. Солженицын), а главным делом жизни становится совершенствование социума в соответствии с принципами общечеловеческой гуманности и нравственности. Свойственное шестидесятникам этическое осмысление общественно-политических проблем явилось следствием этой мировоззренческой позиции. В. Лакшин так выразил мироощущение современников: «Нам <…> не нравился казённо-бюрократический социализм, мы защищали человеческую правду против формальной, мы приходили в содрогание от ужасов сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изощрённых форм общественного лицемерия. Но мы верили в социализм, как в благородную идею справедливости, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе – и, боясь истасканности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми» [3. С. 124-188].

Действенное служение правде и справедливости, как видим, означало для шестидесятников борьбу с искажениями подлинной природы социализма. В этой мотивации социальных действий нет ни тени оппозиционности строю. Тогда когда и как шестидесятничество переросло в движение протеста? Среди современных ответов на этот вопрос, данных участниками разнообразных протестных акций 1960-1970-х гг., – от подписания нонконформистами писем в защиту единомышленников до диссидентской практики, частотным мотивом является утверждение о «незаметности» для самих себя «сползания» в оппозиционность. Заявление, на первый взгляд кажущееся странным, вполне объяснимо с точки зрения повседневной практики.

Изначально не противопоставляя себя политической власти, шестидесятники были убеждены в необходимости открытой, легальной деятельности. Потому, например, письма протеста/защиты подписывались ими с обязательным указанием должности, фамилии, имени, отчества и зачастую – домашнего адреса. Письмо XXIII съезду партии с просьбой не подвергать суду Синявского и Даниэля, а

передать их на поруки писательской организации подписали 62 литератора, маститых и начинающих. Демонстративность подчёркивала убеждённость «подписантов» в своей нравственной правоте: «Дело писателей не преследовать, а вступаться», – эти слова из письма Чехова Суворину приводила в письме М. Шолохову, потребовавшему на съезде сурового приговора «оборотням», Л. Чуковская. И добавляла: «Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров» [8. С. 151]. Апелляция Чуковской к традициям русской литературы – убедительное доказательство духовной преемственности, ощущаемой нонконформистами. «Слава предков» обязывала быть достойными их в духовном сопротивлении любой политической лжи и несправедливости. Дело, наполненное нравственным содержанием, не может быть анонимным. Это требование принципиально. Оно означало открытость интеллигенции к диалогу и острую потребность быть услышанной: продуктивным может быть только тот разговор, в котором позиции ясно выявлены и представлены реальными собеседниками.

Легальность требовала от «подписантов» мужества. Во-первых, репрессивный характер ответных действий становился всё более вероятен, а во-вторых, чем демонстративнее акция, тем выше моральная ответственность за неё. Если подпись под документом, адресованным правительству, не результат минутного эмоционального порыва, а выражение гражданской позиции, то эту позицию надо отстаивать. За убеждения нужно бороться. Отозвать свою подпись или публично отречься от первоначальных заявлений недопустимо. Это означало не только продемонстрировать трусость, утратить уважение, но и расписаться в личностной и гражданской незрелости. Социально-нравственный инфантилизм – качества, безусловно осуждаемые современниками. Человек, дискредитировавший себя в глазах либеральной общественности, становился «нерукопожатным»: с ним не здоровались и расторгали отношения. А. Твардовский по поводу одного из таких писем протеста записал в дневнике: «…по этому признаку (подписал или не подписал письмо. – *Е.С.*) люди разговаривают или не разговаривают или даже не здороваются» [7. С. 228]. Так шестидесятники зачастую становились «заложниками» публичности, диктовавшей соответствующий тип дальнейшего поведения, требовавшей всё новых подтверждений однажды выбранной позиции. А значит, постепенный «дрейф» в сторону оппозиционности становился неизбежен: начав с поступков, продиктованных чувством солидарности, желанием защитить друзей или коллег от неправедных гонений, человек приходил к участию во всё более решительных акциях, всё более втягивался в идеологическую борьбу, политическое противостояние. Юрий Орлов, один из основателей Московской Хельсинской группы, в книге «Опасные мысли» (1990) вспоминал о своём приобщении к диссидентской деятельности: «В сентябре 1973 года началась бешеная травля Сахарова <…>. Моральная стоимость академических кампаний против Сахарова была нуль без палочки, как говаривала моя мать. Приличные академики не участвовали в них. Одни, как Будкер, исчезали на время, немногочисленные герои, вроде Капицы и Сагдеева, отказывались напрямик.

Сахарова, с которым я был знаком теперь хорошо, надо было поддержать немедленно. К концу недели я закончил с этой целью «Тринадцать вопросов Брежневу». Гэбисты положили в свои сейфы первые вещественные доказательства моего будущего уголовного дела <…>. Письмо, размноженное на машинке, с подписью и домашним адресом, было послано Брежневу, в редакции официальных газет, а кроме того, пущено по общественным кругам Москвы, Новосибирска, Еревана» [4. С. 154-155]. Как видим, вновь нравственный позыв защитить коллегу (Ю. Орлов – физик-теоретик, член-корреспондент армянской Академии наук, с 1972 г. до ареста в 1977 г. жил и работал в Москве. – *Е.С.)* наполнился общественным содержанием и перерос в политическую акцию.

Составление нонконформистами «протестных писем» довольно быстро стало фактом общественной жизни «оттепели». Это объясняется плотностью коммуникации внутри профессиональных сообществ. Действительно, творческая и научная интеллигенция имела тесные деловые и личные связи: например, литераторы входили в один творческий союз, проживали в «писательских» домах и дачных посёлках, зачастую вместе проводили свободное время. В едином жизненном пространстве модель товарищеского поведения распространялась как на повседневно-бытовую, так и на профессиональную сферу.

Нонконформисты исходили из убеждения, наследованного русской интеллигенцией у европейских просветителей, в неотчуждаемости гражданских прав личности, среди которых свобода слова и мысли – главные ценности. Орлов описал примечательный диалог со случайным знакомым, бухгал-

тером. Тот спросил, почему рабочее-крестьянская по происхождению советская интеллигенция всё время «ворошится», «чем-то недовольна»: «Происхождение неважно, – сказал я. – Интеллигенту, раз он стал им, нужна свобода мысли и выражения мысли. Это способ его жизни, условие его существования. Без этого он не интеллигент» [4. С. 160].

Безусловно, масштаб измерения собственных поступков – повседневно-бытовой или социально-исторический – каждый в конечном счёте определял сам. Разделять взгляды нонконформистов, но помалкивать или решиться на активное противодействие – этот выбор свершался сугубо персонально и выявлял ощущение личной ответственности за происходящее в стране. Отнюдь не у всех шестидесятников «история пульсировала в висках». Так, В. Токарева, рассуждая сегодня о правомочности подписать официальное письмо с требованием осудить кого-нибудь из нонконформистов, призналась, что под угрозой запрета спектакля по её пьесе она бы такое письмо подписала. Подумала бы о режиссёре, актёрах и подписала…[1] Частная жизнь, с её логикой повседневных забот и обязательств перед конкретными людьми, не равна Истории. На этой позиции стоит писательница. Иное объяснение схожей жизненной позиции давал Е. Шварц: «Когда на тебя мчит курьерский поезд, то ты делаешь шаг в сторону из самого нормального благоразумия, твои окровавленные останки никого не научат…<…> для меня сейчас самое главное, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать. В своей работе ни в одной строчке не сблужу. А все эти собрания, все эти массовые поднятия рук, почтительные вставания, покорные приветствия, гневные письма, которые всегда, когда нет выхода, нет возможности уклониться, подписываю, – всё это труха, и она забудется. Наши потомки отлично поймут, что мы делали искренно, а что по внешнему принуждению. Встанут на наше место – и поймут. И судить нас будут по тем рукописям, что мы оставим в нашем письменном столе…» [6. С. 387]. Как видим, Е. Шварц выстраивает свою ценностную иерархию: литература, творчество выше политики. Для писателя главное – правдивое слово, высказанное в художественном тексте, а не в идеологических баталиях. Автор «Дракона» подтвердил правомерность этой позиции глубиной и честностью своих книг.

И всё же преобладающим в аксиологии шестидесятничества следует признать постулат, данный Е. Евтушенко в ироничных строках:

Учёный, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится Земля.
Но у него была семья…

Частное измерение несопоставимо с историческим, убеждён поэт, житейский здравый смысл ничтожен перед лицом Истины, требующей поступка, а если необходимо – самопожертвования.

Сопряжённость частного времени с историческим в повседневной практике шестидесятников порой приобретала утрированную форму. Так, поведение Солженицына порой оценивалось как «мания величия» (А. Твардовский, В. Лакшин, А. Кондратович). А Зоя Богуславская вспоминала, как они вместе с Андреем Вознесенским однажды подвозили писателя на собственном автомобиле. Тот в самой категоричной форме велел ей, сидевшей за рулём, сбросить скорость, мотивируя приказ следующими словами: «Я не для того выжил в лагере, чтобы погибнуть в аварии». Прощаясь, он потребовал от Богуславской и Вознесенского отвернуться и не следить, куда и по какой улице он будет уходить[2]. Досаду от той совместной поездки поэт выразил в строчках:

Я вправо уходил, он – влево,
Дороги наши разминулись…

Как видим, на примере шестидесятнического самосознания выявляет себя в полную меру один из онтологических признаков русской культуры, справедливо выделенных А.М. Пятигорским, – абсолютизация историзма. Неоднозначные последствия этого явления выявились в сознании диссидентов.

Понятие «диссидент» (от латинского dissidens – «несогласный», «противоречащий») вошло в речевое употребление в конце 1960-х-начале 1970-х гг. Авторство термина приписывается Л. Е. Пинскому, употреблявшему его исключительно с ироничным звучанием. В обиходе советской интелли-

[1] «Она написала себе роль…» : в 4 ч. Ч. 2 : док. фильм / реж Анатолий Малкин. Россия «Культура», 2012.
[2] «Андрей и Зоя» : в 4 ч. Ч. 2 : док. фильм / реж. Анатолий Малкин. Россия «Культура», 2011.

генции слово освободилось от первоначальной иронии и стало использоваться по отношению к нонконформистам, занимавшим радикальную социальную позицию, убеждённым в невозможности какого-либо диалога с властью.

Для столь категоричной позиции были основания. Если начало «оттепели» ознаменовалось судебными процессами над литераторами, отстаивавшими публикациями «непроходных» текстов за рубежом «свободу слова» – непреложное условие художественного творчества, то во второй половине 1960-х – в 1970-е гг. в орбиту идеологического противостояния втянулась научная и техническая интеллигенция. Спектр взаимных претензий расширился, позиции сторон приняли непримиримый характер. После создания в 1967 г. в недрах КГБ специального Управления «По борьбе с идеологическими диверсиями» борьба власти и нонконформистов окончательно политизировалась, преследование диссидентов приобрело массированный характер. Подвергшиеся уголовному наказанию нонконформисты могли рассчитывать лишь на маргинальное положение в обществе – случайные заработки, временную работу, публикацию работ только в сам- и тамиздате.

Казалось бы, если диалог непродуктивен, а его итог заведомо предсказуем, то коммуникация лишена смысла. Но «протестные письма» (зримое воплощение потребности нонконформистов во взаимодействии с противоборствующей стороной) по-прежнему продолжали активно составляться ими и курсировали в обществе с не меньшей, чем прежде интенсивностью. Однако функция их стала иной: не ответ адресата, изначально предопределённый, был важен в данном случае, а очередная демонстрация незыблемости собственных позиций, сплочение единомышленников. В таком случае «протестное письмо» становилось своего рода провокацией общественной активности, одним из тактических ходов в затяжной идеологической и политической борьбе.

Ю. Орлов так комментировал мотивацию своего письменного обращения к Генеральному секретарю ЦК КПСС («Тринадцать вопросов Брежневу».): «Конечно, я ни секунды не верил, что конструктивный разговор с режимом был возможен, но решил, что в первом публичном выступлении не стоит исходить из такого постулата. Власти должны доказать на деле, что никакого плюрализма в идеях они не признают и никакой серьёзный диалог со мной вести не будут» [4. С. 155]. <…> … письмо Брежневу читалось с интересом и распространялось в разных городах отнюдь не всегда диссидентами. Некоторые люди специально приезжали в Москву пообсуждать его со мной. Это и было моей главной целью» (Там же. С. 156). Как видим, ответ властей изначально менее важен автору, чем распространение своих воззрений в обществе. «Идеи, овладев массами, становятся величайшей движущей победоносной силой», – утверждал Карл Маркс. Этим принципом руководствовались в своих действиях нонконформисты, формировавшие гражданское общество, ставшие совестью и голосом нации в эпоху «застоя».

В условиях вынужденной профессионализации диссидентской деятельности литературно-публицистическая активность приравнивалась к общественно-политической работе – разнообразным протестным акциям, участию в неофициальных комитетах: в 1969 г. создана «Инициативная группа по защите прав человека в СССР», трансформированная в 1970 г. в «Комитет прав человека». В 1975 г. начато движение «Международная амнистия», в 1976 г. образована «Московская Хельсинская группа», в 1977 г. – «Фонд помощи политзаключённым» и «Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях». Общественная деятельность этих и подобных им организаций освещалась в нелегальной прессе.

Из саморефлексии диссидентов, осознанно выбравших «профессию» «несогласного», исключались мотивы «случайности», «незаметности» попадания в политическую борьбу. Напротив, теперь нонконформисты осознавали бесповоротность выбранного пути. Их биографии, реальные или литературно зафиксированные, конструировались по апробированным поведенческим схемам с учётом опыта «ранних шестидесятников». Образцом служили литературные биографии нонконформистов, распространённые в сам- и тамиздате. На 1970-е гг. приходится расцвет жанра автобиографии диссидента: Анатолий Марченко «Мои показания» (1974), Александр Солженицын «Бодался телёнок с дубом» (1975), Андрей Амальрик «Записки диссидента» (1978), Владимир Буковский «И возвращается ветер» (1978), Натан Щаранский «Не убоюсь зла» (1978) и многие другие. Показательная деталь: мемуары диссидентов содержат подробное описание наиболее верного поведения во время слежки, обыска, ареста и т. п. и могут быть использованы как своего рода «учебное пособие» для начинающих, «краткий курс молодого бойца». Весьма полезное свойство книги в условиях непрекращающегося политического преследования. Прагматическое назначение текста выявляет внелитературную

задачу автора – просветить возможных последователей, убедить как можно большее число читателей в неизбежности противостояния, нравственной правоте диссидентского движения.

Свойственная шестидесятникам напряжённая коммуникация внутри среды порождала разнообразные ответы на вопрос «что делать?». Позиции диссидентов, порой диаметрально противоположные, совпадали в ощущении обречённости режима. Вот как описывал Орлов реакцию Солженицына на своё письмо Брежневу: «Да, – сказал он, прочтя внимательно, – можно подходить с разных сторон, но с какой стороны ни подойди, результат всё тот же: у этой системы будущего нет» [4. С. 157]. Тогда же, в 1970-е гг., Андрей Амальрик в одном из своих эссе задал сакраментальный вопрос «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Так от представлений нонконформистов начала «оттепели» о возможности реставрации подлинной гуманистической природы социализма диссиденты пришли к убеждению в бесперспективности социализма как такового.

Переосмысление исходной мировоззренческой позиции – от приятия социализма к его категорическому отрицанию – повлекло за собой корректировку воззрений на собственную роль в общественно-политической жизни страны. В чём она заключается? Ответ диссидентов звучал радикально: в разрушении системы.

Новая цель породила сложное, неоднозначное толкование проблемы «мы» и История. Отождествление индивидуально-личного времени и исторического, типичное для «ранних шестидесятников», сохранялось в восприятии себя как исторических персонажей, от повседневной практики которых зависит судьба страны. Однако вместе с этим убеждением возникло и качественно новое свойство сознания – отчуждение от истории.

Сравним два эпизода. Николай Старшинов, вошедший в литературу в начале «оттепели», вспоминал в одном из стихотворений, как его и других поэтов-фронтовиков (Юлию Друнину, Сергея Наровчатого, Михаила Луконина, Давида Самойлова и др.) на одном из Литобъединений гневно бранил литературный чиновник (Алексей Сурков, как впоследствии признался поэт) за недостаток героики и излишнюю «окопную правду». Подводя итог тому эпизоду, автор заканчивал словами:

Мели себе, мели…
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
(«Солдаты мы. И это наша слава»)

В этих строках звучит такая мера спаянности поколения с судьбой страны и народа, которая даёт право говорить о войне так, как помнят и знают её они, фронтовики, а не так, как велит начальник. А вот цитата из автобиографической книги Буковского «И возвращается ветер…» (1978 г.): «…я <...> родился в самый разгар войны, когда миллионы людей убивали друг друга ради того, какие будут на свете концлагеря: коричневые или красные» [2. С. 79]. Это слова диссидента, воспринимавшего историю страны отчуждённо, со значительной долей цинизма.

Казалось бы, дистанция между субъектом и объектом – диссидентом и социальной действительностью – может быть продуктивна. Она способна обеспечить непредвзятую оценку реальности. Однако в данном случае этого произойти не могло. В аналитических статьях диссидентов, составляющих основной корпус самиздатских общественно-политических журналов, политическая тенденциозность входила в авторскую задачу и определяла специфический характер письменных высказываний – обличительный, категоричный. У Орлова в мемуарах читаем: «В <…> эссе («Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» (1975). – *Е.С.*) я предупреждал западных левых о потенциальной опасности централизованной плановой экономики: если в каких-либо критических обстоятельствах понадобится временно и централизация политической власти, то возникшая таким образом комбинация политической и экономической централизации может породить необратимую супертоталитарную систему – ловушку, выбраться из которой будет практически невозможно» [4. С. 175]. Мотив предупреждения мировой общественности о потенциальной угрозе, исходящей от социализма, – общее место литературно-публицистических высказываний диссидентов.

Отчуждённое сознание рождает искажённую оптику. В книге Буковского «И возвращается ветер…» исторический анализ, предполагающий исследование причинно-следственных связей, заменён квазиисторией, воспроизводящей стереотипы сознания диссидентского сообщества: «Тащится интеллигентный старичок по Арбату, в «Прагу» за продуктами, тихий такой старичок, никого не трогает. <…> Ненавистно ему небо – советское; листочки зелёные – и те будто с первомайского плаката. Га-

зета висит – свежая, а ну, чего ещё они там наврали? И ведь знает, что наврали, и противно читать, ан нет – станет, проглядит, чтобы душу растравить. <…> Нет, так уж устроен советский человек, что не может пройти мимо этого, отгородиться – как наркотик, как допинг нужно ему травить душу этим ядом. Вот этот самый старикашка всю жизнь до пенсии работал в той же самой газете, всю жизнь писал про те же небывалые урожаи. Или пусть не писал, пусть был наборщиком или печатником, мастером на заводе или школьным учителем. <…> Так или иначе, все вовлечены в преступления власти, все работают на государственных предприятиях, укрепляя этим систему, создавая ей ценности. Все поднимают руки на собраниях, голосуют на выборах и – самое главное – не протестуют [1. С. 69-70]. Эта памфлетная зарисовка по существу является развёрнутой иллюстрацией основных идей статьи А. Солженицына «Жить не по лжи» (1974). Как известно, писатель призывал современников противопоставить лживой государственной идеологии личностное неучастие. Автор видел сопротивление режиму в отстранённости граждан от повседневной общественной практики – чтения официальных газет, участия в голосовании, присутствия на собраниях и пр. Аллюзии и взаимоцитирование, частотный приём диссидентских текстов, объясняется не только плотной коммуникацией внутри сообщества, но и попытками автора выстроить обобщённую модель реальности с привлечением иных, схожих точек зрения, делающих собственную позицию более весомой. Слово столь авторитетного писателя, как Солженицын, способствовало решению этой задачи.

Политическая тенденциозность всякий раз определяет позицию автора диссидентских текстов. Социальная роль – «несогласный» – доминирует в оценке людей и событий. Вот как описывает Орлов один из самых драматичных моментов в жизни – смерть матери: «– Вот, обмыли, – сказала соседка. – Отмучилась.

– Когда? Как?

– Сегодня на рассвете. Вскрикнула. Я, как сердце чуяло, вбежала, а она уж не дышит.

<…> Я захоронил материн прах на маленьком кладбище крематория, возле Донского монастыря, внутри которого размещалась кожгалантерейная фабрика имени Международного юношеского дня, на которой мать провела лучшие годы своей жизни. В сотне метров от крематория начинались корпуса станкостроительного завода имени Орджоникидзе, <…> вместе с которым мать эвакуировалась на восток, на уральский танкостроительный завод, которому оставила своё здоровье. <…> А если не переходить моста, то по правую руку увидятся два полукруглых жилых здания, построенных для научной элиты и высших чинов КГБ, с прекрасными паркетными полами, которые настилал после войны ещё не известный тогда миру политический заключённый Александр Солженицын» [4. С. 125-126]. Логика повествования заставляет увидеть в умершей женщине прежде всего жертву режима, равнодушного, а потому враждебного судьбе всякого рядового человека – от простого рабочего до будущего Нобелевского лауреата. А вот рассказ Буковского о прощании с друзьями – американскими журналистами, помогавшими ему переправлять рукописи за границу: «Холгера отозвали к концу года и отправили корреспондентом во Вьетнам. Ещё раньше советские власти выгнали Билла Коула – "за деятельность, несовместимую со статусом корреспондента". <…>

Мне жаль было расставаться с ними, как с друзьями в концлагере, – я знал, что больше никогда их не увижу. Билл хмурился, но держался бодро, считал, что всё идёт о'кей.

– Я не хотел здесь оставаться, – говорил он. – Порядочного человека отсюда должны выгнать.

Холгер переживал более открыто. Он любил русскую культуру, изучил русский язык и надеялся прожить здесь хотя бы лет пять. <…> И теперь вот он уезжал навсегда. По обычаю АП, он сам должен был подыскать себе замену.

– Ладно, я им найду замену. Я найду тебе такого парня, который их не испугается» [1. С. 340-341]. Вновь человек оценен автором не по личностным качествам, а по его социальной роли – участию в борьбе нонконформиста с режимом.

В обоих случаях социальная функция – диссидент – подавила в авторе его человеческую сущность, а вместе с этим из повествования ушло подлинно гуманистическое измерение мира и людей. С диссидентами произошла «профессиональная деформация»: потеря личностной целостности привела к доминированию социальной роли над сущностным, человеческим началом.

Стандартизированное мышление рождает однотипные повествовательные мотивы и сюжетные ходы в автобиографиях диссидентов: «раннее прозрение» (у Буковского – в школе, у Орлова – в институте), этический позыв вступить в борьбу (неприятие лживой идеологии, неосталинизм), первый поединок, приведший к крутому повороту судьбы (у Буковского – исключению из вуза, у Орлова –

потере работы), «кошки-мышки» с режимом, нравственная стойкость в заключении и высылка из страны как этап непрекращающейся борьбы с советской властью.

Так диссиденты, начав с нравственного сопротивления лжи, возведённой в ранг государственной идеологии, пришли в своих текстах к монохромному изображению мира и породили искаженную художественную реальность, отступив от истины в её общечеловеческом измерении ради социально-классовых ценностей.

Когда-то Лакшин предупреждал Солженицына: «Вы делаете ошибку, если думаете, что говорите всякий раз как бы от лица Истории. Не уверен, что она во всём согласится с Вами» [3. С. 440]. Эти справедливые слова можно было бы адресовать всем диссидентам. Безусловно незаурядные личности, стойкие и мужественные, умевшие взять на себя ответственность за судьбу страны, они попали в капкан историзма: абсолютизировали историю в своей жизни и собственную роль в истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буковский В. И возвращается ветер… СПб.: Захаров, 2007. 339 с.
2. Воронков В. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России / сост. Ю. Левада, Т. Шанин. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 168-202.
3. Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // В. Лакшин. Солженицын и колесо истории. М.: Издат. дом «Вече», «АЗъ» (Знатнов), 2008.
4. Орлов Ю. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни / Ю. Орлов. М.: Захаров. 386 с.
5. Померанц Г. Записки гадкого утёнка. М.: Московский рабочий, 1998. 339 с.
6. Рассадин Ст. Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали. М.: Текст, 2002. 478 с.
7. Твардовский А. Новомирский дневник: в 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 2: 1967-1970. 640 с.
8. Чуковская Л. Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» // Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. М.: Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 149-154.

Поступила в редакцию 15.10.13

E.G. Serebryakova
From “Sixties” to “Discent”: a few words on the evolution of events

This article analyzes the sixties. The author explores the transformation of the basic philosophical principles of the liberal Soviet intelligentsia, and the most important of them is called historicism. The main conclusions of the article are made on the basis of analysis of books by Yuri Orlov “Dangerous Thoughts” and by Vladimir Bukovsky “Wind returns...” The author claims that the sixties equated the private time and historical one, but the dissidents began to absolute historicism.

Keywords: sixties, dissidents, liberal Soviet intelligentsia, historicism, private time and historical.

Серебрякова Елена Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
394006, Россия, г. Воронеж, Университетская пл., 1
E-mail: Serebrjakova@phipsy.vsu.ru

Serebryakova E.G.,
candidate of philology, associate professor

Voronezh State University
394006, Russia, Voronezh, Universitetskaya sq., 1
E-mail: Serebrjakova@phipsy.vsu.ru